

Вячеслав Крылов

Казань (Россия)

АМЕРИКАНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ В ТВОРИЧЕСТВЕ ВЛАДИМИРА КОРОЛЕНКО

Хорошо известна такая особенность русской литературы конца XIX – начала XX века, как экстенсивность художественного сознания, проявившаяся в расширении «географии», то есть круга изображаемой действительности и мира персонажей разного социального, профессионального статуса. В связи с творчеством Константина Бальмонта исследовательница Лидия Колобаева писала:

Безудержный мировой «аппетит» движет и поэзией Бальмонта. Его лирический герой — некий блуждающий дух, который стремится заговорить на всех языках, увидеть все города земли, все страны, приблизиться к тайне разных культур, услышать «звон всех времен и пиров». Он — вечный путник, скиталец. И все это определяет одну из ключевых особенностей его художественной системы — *экстенсивность* образного освоения мира, пространственную и временную экспансию его поэтического воображения, путешествующего по всей планете. Об этом говорят уже сами названия многих его «путевых» стихотворений: «Египет», «Исландия», «Бретань», «Индийский мотив», «Воспоминание о вечере в Амстердаме», «Испанский цветок», «В Венгрии, в старом костеле приходском...», «Мексиканский вечер», «Литва и Латвия, Поморье и Суоми...», «На Макарийских островах...» и др. [...] Подобная экстенсивность образной системы, пространственная и временная, вселенский «аппетит» поэтической фантазии не случайны в русской поэзии рубежа веков, как и во всей европейской культуре к концу XIX столетия. Во всем этом угадывается предвесье нового литературного века, тот момент истории, когда Запад вспомнил о Востоке, а Восток потянулся к Западу, когда поэты уловили потребность человечества представить, обозреть, осознать себя *в целом*¹.

¹ Л.А. Колобаева, *Концепция личности в русской литературе рубежа XIX-XX вв.*, Москва 1990, с. 204-205.

Но процесс расширения пространственных рамок литературы охватывал не только зарождающийся на русской почве модернизм, но и традиционный реализм. Для писателя (независимо от направления) рубежа веков становится главным — желание увидеть всё воочию, почувствовать жизнь, почерпнуть достоверные, непосредственные знания. Поэтому реальным фактом становятся не только похождения Максима Горького — из-за житейской неустроенности, поиска работы, но и «университеты» Александра Куприна и известное его желание всё попробовать (он с рыбаками ходил в море, поднимался на воздушном шаре в небо, опускался с водолазами на дно, летал на аэроплане). В этом контексте нужно рассматривать и поездку Антона Чехова на Сахалин и страсть к путешествиям у Ивана Бунина, который писал: „Я человек; как бог, я обречён // Познать тоску всех стран и всех времён”². Для русского реализма одной из самых острых тем становится тема России, ее исторического своеобразия, ее будущего.

Изучение этой России — с ее еще неизведанными краями, с ее еще мало познанными социальными слоями населения — становится первоочередной задачей художников. Горький говорил, что классическая литература была по преимуществу литературой Москвы, Петербурга, средней России, в то время как в поле зрения советских писателей оказалась вся многонациональная Россия³.

Разумеется, задача углубленного познания России не могла решаться без обращения к опыту «чужого» мира. Литературоведческой и культурологической аксиомой давно стала мысль о том, что познание «своего» невозможно во всей полноте без постижения «чужого»; диалог с «другим» позволяет найти новые, скрытые смыслы в своем «слове» и, в конечном счете, в тексте культуры. Юрий Лотман в статье *К построению теории взаимодействия культур (семиотический аспект)* (1983) выдвигает ряд положений, касающихся соотношения «своего» и «чужого» в культурах, размышляет о причинах взаимодействия культур:

С одной стороны, нуждаясь в партнере, культура постоянно создает *собственными усилиями* этого «чужого», носителя другого сознания, иначе кодирующего мир и тексты. Этот создаваемый в недрах культуры — в основном по контрасту с ее собственными доминирующими кодами — образ экстерииризуется ею вовне и проецируется на вне ее лежащие культурные миры. Характерным примером могут служить этнографические описания европейцами «экзотических» культур (куда в определенные моменты истории попадает и русская) или описание Тацитом быта

² И.А. Бунин, *Стихотворения и поэмы*, Москва 1985, с. 267.

³ *История русской литературы в четырех томах*, т. IV, ред. К.Д. Муратова, Ленинград 1983, с. 605.

германцев. С другой стороны, введение внешних культурных структур во внутренний мир данной культуры подразумевает установление с ней общего языка, а это, в свою очередь, требует их интериоризации. Для того чтобы общаться с внешней культурой, культура должна интериоризировать ее образ внутрь своего мира. Процесс этот неизбежно диалектически противоречив: внутренний образ внешней культуры обладает языком общения с культурным миром, в который он инкорпорирован⁴.

Посмотрим, как отразился этот противоречивый процесс в художественно-документальном отражении Северной Америки в произведениях ведущего реалиста рубежа XIX–XX вв. — Владимира Короленко. В анализе мы опираемся на исследования рецепции Америки в русской культуре. Выделим, прежде всего, докторскую диссертацию Анны Арустамовой *Тема Америки в русской литературе XIX века* (2010) и книгу Александра Эткинда *Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах* (2001)⁵. В исследовании Арустамовой прослежена динамика воплощения темы Америки в русской литературе на протяжении столетия, показано, как в XIX веке в русской литературе представление о США качественно усложняется: появляются новые темы, мотивы, сюжетные ситуации, усложняется типология образов; уже выработанные в начале XIX в. комплекс идей и понятий, система оппозиций, образов, мотивно-тематические комплексы, сюжетные коллизии наполняются новым содержанием. Что особенно важно выделить, отношение к Америке двойственно.

Диалог с США на протяжении XVIII–XX вв. являлся важной частью русской культуры; в процессе этого диалога формировалось национальное самосознание, анализировались перспективы исторического развития России. Авторы произведений, в которых воплощалась тема Америки, затрагивали многие общечеловеческие проблемы и отвечали на ключевые вопросы времени. Получая информацию об американской жизни, русский читатель имел возможность сопоставить социально-политические институты США и России, в том числе институты невольничества и крепостного права, что способствовало развитию русской общественной мысли. Русское самосознание в одних ситуациях притягивалось к Америке, в других — отталкивалось от нее. Для одних Америка оказывалась образцом для подражания, идеалом, чем-то вроде Рая на земле и

⁴ Ю.М. Лотман, *Избранные статьи в трех томах*, т. I: *Статьи по семиотике и типологии культуры*, Таллинн 1992, с. 117.

⁵ Книга А. Эткинда посвящена путешествиям за океан, реальным или вымышленным, в течение двух веков. Как отмечает автор, «сравнение этих двух стран, народов или национальных характеров настолько распространено, что интереснее следить не за тем, как оно попадало от одного автора к другому, но за тем, сколь разные функции оно выполняло у разных авторов» (А. Эткинд, *Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах*, Москва 2001, с. 5).

указывала направление, по которому должна развиваться Россия. Для других Америка была «проклятым местом» (аналогом Ада) и определяла вектор направления, в котором России развиваться не нужно⁶.

Эта двойственность сохранилась и на рубеже XIX-XX вв., обретя большую философскую направленность, сосредоточенность на индивидуально-личностном осмыслении судьбы человека на родине и на чужбине.

В начале XX века предметом философско-публицистических размышлений русских писателей становится американизм и американский характер, рассмотренный сквозь призму популярных тогда концепций противостояния культуры и цивилизации. Василий Розанов рассуждал об отсутствии взаимного понимания европейцев и американцев. Если «европеизм» есть человечность, все европейские народы «имеют каждое тысячелетие свою национальную церковь, с неизмеримым и ежедневным ее влиянием», то американское общество пронизано торгашеским духом. В этом контексте Россия виделась Розанову «в самом строгом смысле культурной страной»⁷. Объясняя читателям религиозно-философского журнала «Новый путь» (цитируемая статья впервые была опубликована в № 2 за 1904 г.) смысл культурной истории России, Розанов писал:

Ибо дело не столько в том, как сделана икона, Рафаэлем или суздальцем, а в том, что с верой и надеждой на икону эту молились тысячу лет, молились души скорбные и угнетенные, каждая со своей надеждой, с своеобразными словами! Это и образует культуру, а не арифметика, которую можно выучить в год. Образуют культуру богатство духовного опыта, долголетность его, сложность его. Деревня может быть культурнее фабрики, ибо в ней есть песня, воспоминания-история, быт, семья, деды и внуки; чего всего нет на фабрике, состоящей единственно из рабочих и нанимателей. Школою мы уступаем едва ли не всем народам, и это есть вина наша, слабость наша, глупость наша. Но культурною, в смысле поэзии и мудрости, мы никому не уступаем — и наш былинник новгородский, или малороссийский бандурист, есть родной брат шотландскому барду, без всякой уступки, хотя, конечно, и без всякого самовозношения. Будем скромны. Но в скромности совершенно твердо признаем, что глубиною и тонкостью души мы никому решительно не уступаем. Что и отразилось, уже вторично и зависимо, в благородной нашей поэзии, литературе, в живописи, в музыке. Все это — дети своего народа, отнюдь не отец его. Отец нашей литературы — народ, деревня. Янки ничего этого, не понимают, это им невозможно растолковать⁸.

⁶ А.А. Арустамова, Б.В. Кондаков, *Константа «Америка» в русской литературе XIX века*, [в:] «Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология» 2010, Вып. 5 (11), с. 111-112.

⁷ В.В. Розанов, *О писательстве и писателях*, Москва 1995, с. 165.

⁸ *Ibidem*, с. 165.

В конце статьи Розанов выразил парадоксальную (но совершенно понятную в рамках его мировоззрения!) мысль о том, что «американская нация есть вообще не мечтательная нация, а мечта родит и поэзию, и философию»⁹.

Последняя мысль Розанова, на наш взгляд, позволяет понять специфику художественного отражения Америки в текстах русских писателей.

В 1893 г. журнал «Русская мысль» командировал Короленко в качестве корреспондента на всемирную выставку в Чикаго. Путешествие через Европу в Америку непосредственно отразилось в одном из самых известных его художественных произведений — большом рассказе *Без языка* (1895), а также в разных автодокументальных текстах — переписке, записных книжках (большей частью неопубликованных при жизни писателя), путевых очерках, публицистике.

Американская тема в творчестве Короленко привлекала к себе внимание историков литературы. Однако нельзя не согласиться с тем, что, например, образ простого крестьянина из Полесья Матвея Лозинского (из рассказа *Без языка*) «в советские годы трактовался в ключе «разоблачения лживой буржуазной демократии»¹⁰, что на самом деле, как будет показано далее, не совсем соответствует позиции автора, да и герою рассказа, «заблудившемуся среди грохота непонятной и чужой цивилизации» разоблачительные настроения близки лишь поначалу, но постепенно «великая американская земля» открывает и свои достоинства: умение ценить «человека с головой и руками», право «выбирать себе веру, кто как хочет», организованную «солидарность людей труда»¹¹. На самом деле образ Америки предстает в творчестве Короленко более объемным и неоднозначным, чем принято считать. Панорамные исследования рецепции Америки в русской литературе не отражают эту многозначность. К тому же, на наш взгляд, важно привлечь в качестве материала исследования широкий комплекс источников, а также связь американской темы с позднейшей публицистикой писателя. При этом, разумеется, нельзя не учитывать и трагических жизненных событий, о которых писал Короленко: «...для меня лично эти американские впечатления омрачены тяжелым горем: у меня умерла в мое отсутствие маленькая дочка, около 2-х лет, маленькое создание, исчезновение которого принесло мне и всем нам огромное горе»¹².

Письма, очерки, записные книжки Короленко полны многообразных сравнений Америки с Россией. Попробуем в них вчитаться и отчасти их

⁹ *Ibidem.*

¹⁰ *Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов)*, книга 1, ред. В.А. Келдыш, Москва 2000, с. 481.

¹¹ *Ibidem*, с. 482.

¹² В.Г. Короленко, *Полное собрание сочинений. Посмертное издание. Неизданные произведения*, т. XVIII, Полтава 1925, с. 9.

систематизировать. В. Короленко, рефлексировав на тему путешествий, очень точно отмечал: «Путешествие — в настоящем и поучительном смысле этого слова — трудная и большая работа. Моя скромная задача — сделать собственные впечатления, далеко не систематические и часто случайные — хоть до известной степени впечатлениями читателя»¹³. При этом следует учитывать еще одно немаловажное обстоятельство:

Хранящийся в архиве дневник спутника Короленко С. Д. Протопопова подтверждает, что если сюжет повести (*Без языка* — К. В.) выдуман, то все реалии американской жизни, увиденные волынским крестьянином, это картины, поразившие самого писателя. То есть Короленко решил удивительную задачу: наблюдения и впечатления он передал так, как будто это были впечатления неграмотного крестьянина. От этого они еще более выиграли в яркости и убедительности. Но главное Короленко решал и частично решил основную для него задачу: показал резкое несоответствие точек зрения на мир крестьянина и интеллигента время понял, что эта ситуация не безнадежна и возможность обретения общего языка все-таки существует¹⁴.

Это дает нам возможность рассматривать рассказ и литературу факта как некий единый текст.

Первые впечатления, отраженные в незаконченной очерке *В Америку!* (*впечатления и заметки русского туриста*), скорее всего, носят общечеловеческий характер. Любое путешествие позволяет человеку почувствовать себя свободным («как птица, которая в эту минуту встряхнулась на ближней ветке, снялась с насиженного места и понеслась над вершинами деревьев»¹⁵), но в то же время «невольная грусть закрадывается в сердце. [...] Зачем едешь ты на чужбину, что найдешь там, на чужой стороне, что застанешь здесь, когда вернешься!..»¹⁶. Уже перемещение по Европе (Финляндии) вызывает у Короленко попутные размышления об «особой примете» русского человека, о «паспортном» чувстве, так отличающем русских от других народов:

Англичанин, например, в отечестве ли, или на чужбине, есть прежде всего именно то, чем он себя именует. А если бы кому угодно было в его «личности» усомниться, то этот скептик обязан был бы успокоить себя представлением доказательств и оснований как для сомнений, так и для изъявления оных... Русский человек, наоборот, находится во всегдашней готовности доказывать свою подлинность, и недаром

¹³ *Ibidem*, с. 67-68.

¹⁴ Е.Г. Савельева, *Американские впечатления В.Г. Короленко и повесть «Без языка»*, [в:] «Вестник Санкт-Петербургского государственного университета» 1998, Серия 2, Вып. 1 (№ 2), с. 85.

¹⁵ В.Г. Короленко, *Полное собрание...*, т. XVIII, с. 15.

¹⁶ *Ibidem*.

бумажка, заключающая в себе доказательства, называется нашим «видом». Человек «без вида»! — Господи, Боже! — есть ли существо более несчастное и неполное. Человек «без вида» — да это гораздо хуже, чем известный герой немецкой сказки, у которого похитили его тень... Англичанин Том Джонс всегда останется Томом Джонсом, пока его душа держится в его теле. Но дворянин Иван Семенович Пантелеев, потеряв из кармана третий элемент собственной личности, — превращается в «именующего себя Иваном Семеновым Пантелеевым, и посмотрите сразу, как он изменился: он заискивающим тоном говорит с коридорным в гостинице, он потерял уверенность голоса и движений, и самая воля его значительно извратилась»¹⁷.

Эта тема осознания национального на фоне европейских и американских реалий станет постоянной во всех текстах Короленко. Вот он вспоминает один характерный рассказ одного русского человека в Америке, национальность которого чиновник почтамта узнал по тому, как тот наклеивал марки на конверте, боясь, что прочитают его письмо. Такая мелочь показывает, как «уверенность в обиходной честности развивается вместе с культурой»¹⁸.

И сам Короленко, и герой рассказа, оказавшись на корабле в океане, испытывают возвышенное чувство, сопряженное со страхом:

И все-таки — 8 суток в океане! На всем протяжении огромного пути (3200 миль) — ни одного острова... От берегов Ирландии до Америки — ни клочка земли, и далекий парус на горизонте или полоска дыма над океаном — составляют целое событие. Восемь дней в только колеблющаяся зыбь и небо... Какое-нибудь столкновение среди ночной темноты, или в бурю — лопнула цепь, сломалась машина, взорвало котел, пьяный пассажир не затушил перед сном папиросу... И никто, быть может, не узнает во всем божьем мире — где именно и что именно случилось с несколькими сотнями людей, вступивших на борт кюнардовского парохода в Англии, но не высадившихся в свое время в Америке... И невольно кажется, что смерть страшнее на этом грандиозном просторе. Описание редкой гибели корабля среди океана покрывает для нас тысячи мелких и крупных речных крушений, совершающихся чуть ли не ежедневно [...]. Теперь штиль не останавливает уже моряка над неподвижной и мертвой гладью, а буря не гонит его на неведомые скалы, — и однако человек инстинктивно боится океана¹⁹.

Не столь рационально, как в путевых записях, это состояние испытывает и Матвей Лозинский:

Вода около корабля светилась, в воде тихо ходили бледные огни, вспыхивая, угасая, vyplывая на поверхность, уходя опять в таинственную

¹⁷ *Ibidem*, с. 17.

¹⁸ *Ibidem*, с. 20-21.

¹⁹ *Ibidem*, с. 68-69.

и страшную глубину... И казалось Матвею, что все это живое: и ход корабля, и жалобный гул, и грохот волны, и движение океана, и таинственное молчание неба. Он глядел в глубину, и ему казалось, что на него тоже кто-то глядит оттуда. Кто-то неизвестный, кто-то удивленный, кто-то испуганный и недовольный... От века веков море идет своим ходом, от века встают и падают волны, от века поет море свою собственную песню, непонятную человеческому уху, и от века в глубине идет своя собственная жизнь, которой мы не знаем. И вот, теперь в эту вековечную гармонию, в это живое движение вмешался дерзкий и правильный ход корабля... И песня моря дрогнула и изменилась, и волны разрезаны и сбиты, и кто-то в глубине со страхом прислушивается к этому ходу непонятного чудовища из другого, непонятного мира. Конечно, Лозинский не мог бы рассказать все это такими словами, но он чувствовал испуг перед тайной морской глубины. И казалось Лозинскому, что вот он смотрит со страхом сверху, а на него с таким же ужасом кто-то смотрит снизу. Смотрит и сердится, и посылает своих посланцев с огнями, которые выплывают наверх и ходят взад и вперед, и узнают что-то, и о чем-то тихо советуются друг с другом, и все-таки печально уходят в безвестную пучину, ничего не понимая... А корабль все бежит неудержимым бегом к своей собственной цели²⁰.

Герою рассказа, простому крестьянину, под воздействием океана, приходят в голову «такие мысли, которые никогда не заходили в голову ни в Лозищах, когда он шел за сохой, ни на ярмарке в местечке, ни даже в церкви». Используя прием временной проспекции, Короленко замечает:

А впрочем, он говорил после и сам, что никогда не забудет моря. «Человек много думает на море разного, — сказал он мне, — разное думает о себе и о боге, о земле и о небе... Разное думается человеку на океане — о жизни, мой господин, и о смерти...» И по глазам его было видно, что какой-то огонек хочет выбиться на поверхность из безвестной глубины этой простой и темной души... Значит, что-то все-таки осталось в этой душе от моря²¹.

Можно вспомнить, как трактовал возвышенное Псевдо-Лонгин:

[...] природа никогда не определяла нам, людям, быть ничтожными существами, -нет, она вводит нас в жизнь и во вселенную как не на какое-то торжество, а чтобы мы были зрителями всей ее целостности и почтительными ее ревнителями, она сразу и навсегда вселила нам в душу неистребимую любовь ко всему великому, потому что оно более божественно, чем мы²².

²⁰ В.Г. Короленко, *Собрание сочинений в 6 томах*, т. IV, Москва 1971, с. 17-18.

²¹ *Ibidem*, с. 18.

²² Псевдо-Лонгин, *О возвышенном*, Москва 1966, с. 64-65.

Через категорию «возвышенное» можно объяснить и открытие Короленко Америки. Воспринимая возвышенное в природе и обществе, человек испытывает как восторг, удивление, так чувство страха.

Например, в письме Короленко к жене передано восхищение индустриальным величием Америки, непохожестью ее архитектуры в сравнении с европейской:

Сегодня мы весь день ходили по Нью-Йорку и отчасти — Бруклину, видели величайший в мире мост, соединяющий эти два города, любовались еще раз статуей свободы, в руку которой можно входить по лестнице внутри, — проехали немало и в омнибусах и по железным дорогам, проложенным над улицами. Едешь вниз, а над головой идут поезда. Нью-Йорк не похож ни на один из городов, виденных нами до сих пор. В постройках есть что-то напоминающее Англию и Лондон, но здесь эта саксонская архитектура как будто вырвалась на простор. Дома светлее, веселее, разнообразнее. В Лондоне — они огромны, до 13 этажей. Но все эти серые закопченные дымом великаны сомкнулись плотно в одну массу и приблизительно все одного роста. Здесь то и дело видишь дома в 15, 16, даже в 17 этажей, узкой башне поднимающиеся над 5-ти и 6-ти этажными, которые перед ними кажутся просто небольшими лачугами. Мы приехали в воскресенье: как и в Лондоне по воскресеньям здесь тихо, лавки закрыты и движения очень мало; и только одни машины свистят и гремят, развозя поезда под землей, на земле, но больше всего — по воздуху, над головами... И весь воздух полон их свистом и грохотом²³.

Такое же впечатление производит Ниагарский водопад: ведь и природа здесь «прониклась тревогой и беспокойной энергией человека»²⁴:

Гул, продолжительный и глубокий, простор и зрелище величавой катастрофы. Тревожный бег как будто замедлился, уклон как будто стал спокойнее, но все равно, — уже ничто не спасет обреченную реку. Тихо, торжественно, как осужденный проходит по ступеням эшафота, протекает река последние сажени по своему каменистому руслу, и прямо за островком, вздрагивая, выгибается и внезапно валится под прямым углом в пропасть. Сколько времени стоит водопад? Сколько веков длится эта катастрофа, сколько тысячелетий вздрагивают окрестные скалы от этого тревожного непрерывного, немолчного грохота? Я стоял над обрывом, невольно сжимая в руке жердочку берегового парапета, и глаза мои жадно ловили эту величавую картину...²⁵

В первых картинах Америки, увиденных глазами крестьянина Матвея Лозинского, преобладает ощущение страха:

²³ В.Г. Короленко, *Собрание сочинений в 10 томах*. т. X. *Письма 1879-1921*, Москва 1956, с. 193-194.

²⁴ В.Г. Короленко, *Полное собрание...*, т. XVIII, с. 78.

²⁵ *Ibidem*, с. 81.

Матвей посмотрел вперед. А там, возвышаясь над самыми высокими мачтами самых больших кораблей, стояла огромная фигура женщины, с поднятой рукой. В руке у нее был факел, который она протягивала навстречу тем, кто подходит по заливу из Европы к великой американской земле.

Пароход шел тихо, среди других пароходов, сновавших, точно водяные жуки, по заливу. Солнце село, а город все выплывал и выплывал навстречу, дома вырастали, огоньки зажигались рядами и в беспорядке дрожали в воде, двигались и перекрещивались внизу, и стояли высоко в небе. Небо темнело, но на нем ясно еще рисовалась высоко в воздухе тонкая сетка огромного, невиданного моста.

Исполинские дома в шесть и семь этажей ютились внизу, под мостом, по берегу; фабричные трубы не могли достать до моста своим дымом. Он повис над водой, с берега на берег, и огромные пароходы пробегали под ним, как ничтожные лодочки, потому что это самый большой мост во всем божьем свете... Это было направо, а налево уже совсем близко высилась фигура женщины, — и во лбу ее, еще споря с последними лучами угасавшей в небе зари, загоралась золотая диадема, и веночек огоньков светился в высоко поднятой руке...

А сердце Лозинского трепетало и сжималось от ужаса. Только теперь он понял, что такое эта Америка, на берегу которой он думал встретить Лозинскую. Он ждал, что она будет сидеть тут где-то со своим узелком. «Боже мой, боже мой, — думал Матвей. — Да здесь человек, как иголка в траве, или капля воды, упавшая в море...» Пароход шел уже часа два в виду земли, в виду построек и пристаней, а город все развертывал над заливом новые ряды улиц, домов и огней... И с берега, сквозь шум машины, несло рокотание и гул. Казалось, кто-то дышит, огромный и усталый, то опять кто-то жалуется и сердится, то кто-то ворочается и стонет... и опять только гудит и катится, как ветер в степи, то опять говорит смешанными голосами...²⁶

Передавая мысли и чувства неграмотного крестьянина, Короленко прибегает к приему остранения, описывая ситуацию «как в первый раз виденную, а случай — как в первый раз происшедший, причем, он употребляет в описании вещи не те названия ее частей, которые приняты, а описывает их так, как называются соответственные части в других вещах»²⁷. Так воспринимается статуя Свободы или трактор:

Но то, что он здесь увидел, облило кровью его сердце. Это был кусок плоского поля, десятин в 15, огороженного не плетнем, не тыном, не жердями, а железной проволокой с колючками. На одном краю этого поля дымились труба завода, закопченного и черного. На другом стоял локомотив — красивая и сверкающая машина на колесах. Маховое колесо быстро вертелось, светливо стучали поршни, белый пар вырывался тоненькой,

²⁶ В.Г. Короленко, *Собрание сочинений в 6 томах...*, т. IV, с. 26-27.

²⁷ В.Б. Шкловский, *Гамбургский счет*, Москва 1990, с. 64.

хлопотливой и прерывистой стружкой. Тут же, мерно волнуясь, плыл в воздухе приводный канат. Проследив его глазом, Матвей увидел, что с другого конца пашни, как животное, сердито взрывая землю, ползет железная машина и грызет, и роет, и отваливает широкую борозду чернозема. Матвей перекрестился. Всякое дыхание да хвалит господу! На что же теперь может пригодиться в этой стороне деревенский человек, вот такой пахарь, как Матвей Лозинский, на что нужна умная лошадь, почтенный вол, твердая рука, верный глаз и сноровка? И что же он станет делать в этой стороне, если здесь так пашут землю?²⁸

Герой рассказа неоднократно испытывает ужас и страх, соединенные со скромностью, боязнью оказаться смешным, но когда он видит, что американцы не «пялят» на них глаз, никто не усмехается, поэтому он немного успокаивается.

Постоянный мотив, через который Короленко передает взгляд Матвея Лозинского на «чужой» мир, это контраст природного и культурного. Пораженный технической мощью Америки, герой воспринимает их через привычные и близкие ему образы природы:

Поезда еще не было. Платформа была вровень с третьими этажами домов. Внизу шли люди, ехали большие фургоны, проходили, позванивая, вагоны конно-железной дороги; вверху, по синему небу плыли облака, белые, светлые, совсем, как наши. «Вот, — думал Матвей, — полетит это облако над землей, над морем, пронесется над Лозищами, заглянет в светлую воду Лозовой речки, увидит лозищанские дома, и поле, и людей, которые едут в поле и с поля, как бог велел, в пароконных телегах и с драбинами. Подумает ли кто-нибудь в Лозищах, что двое лозищан стоят в эту минуту в чужом городе, где над ними сейчас издевались, точно они не христиане и приехали сюда на посмешище... Стоят ни на земле, ни на горе и собираются лететь по воздуху в какой-то машине»²⁹.

Все более и более удаляясь от Нью-Йорка, герой видит, что города становились меньше и проще и по мере того, как больше и ближе ему открывалась природа, как «в окна врывается вольный ветер полей и лесов», «душа оскорбленного и загнанного человека начинала как будто таять»³⁰. Матвей Лозинский созерцает картины, привычные и близкие его образу жизни и его сознанию:

В одном месте он чуть не до половины высунулся из окна, провожая взглядом быстро промелькнувшую пашню, на которой мужчины и женщины вязали снопы пшеницы. В другом, опершись на сапы и кирки, смотрели на пробегающий поезд крепкие, загорелые люди, корчевавшие пни поваленного леса. Матвею была знакома эта работа — и ему хотелось

²⁸ В.Г. Короленко, *Собрание сочинений в 6 томах...*, т. IV, с. 85.

²⁹ *Ibidem*, с. 32-33.

³⁰ *Ibidem*, с. 116.

бы выскочить из вагона, взять в руки топор или кирку и показать этим людям, что он, Матвей Лозинский, может сделать с самым здоровым пнищем³¹.

Именно в этот момент Лозинский чувствовал, что и «ему нашлось бы место в этой жизни, если бы он не отвернулся сразу от этой страны, от ее людей, от ее города, если б он оказал более внимания к ее языку и обычаю»³².

А в очерке *Русские на Чикагском перекрестке*, передавая впечатления о чикагской выставке, Короленко замечает, что «природа ночи исчезла, был только искусственный свет, камень, суета, теснота и грохот»³³. Но по мере того, как попутчики (русские) приближаются к окраине города, становилось несколько тише и угадывалось, что там «где-то в далеком божьем мире стоит ночь, просторная, широкая, задумчивая, безграничная и таинственная»³⁴. Особенное потрясение испытывают попутчики, когда видят луну: «уличные фонари, освещенные окна, подъезды, световые объявления, и среди всего этого, точно действительно большая лампа — висела склонившаяся к закату луна»³⁵. Вспоминается невольно, как примерно в это время один из основателей русского символизма Валерий Брюсов переосмысливал образ луны в урбанистических стихотворениях *Творчество* (1895), *Конь блед* (1903):

Лили свет безжалостный прикованные луны,
Луны, сотворенные владыками естеств.
В этом свете, в этом гуле — души были юны,
Души опьяневших, пьяных городом существ³⁶.

В письмах Короленко, разумеется, преобладает интеллигентская точка зрения. Как писатель и публицист Короленко обращает внимание на хлесткие заглавия американских газет (правда, вскоре в начале XX века они появятся и в России), он сообщает жене о том, что пишут американские газеты о России, например, приводит с негодованием суждение сенатора Эдмондса, что «русская нация недостойна учреждений и вообще, — что ей достаточен и деспотизм»³⁷.

Последнее мнение позволяет видеть в текстах Короленко не просто этнографические путевые очерки, а глубокие размышления о двух образах мира — русском и американском, содержащие оценку темпов технического

³¹ *Ibidem*, с. 116.

³² *Ibidem*.

³³ В.Г. Короленко, *Полное собрание...*, с. 93.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ *Ibidem*, с. 96.

³⁶ В.Я. Брюсов, *Сочинения в двух томах*, т. I, Москва 1987, с. 209.

³⁷ В.Г. Короленко, *Собрание сочинений в 10 томах...*, т. X, с. 195.

прогресса, идеалов свободы, уважения к личности, отношение к прагматизму, индивидуализму. Отношение Короленко к Америке амбивалентно. С одной стороны, характерно такое признание, выраженное в письме к жене: «Бог с ними, с Европами и Америками! Пусть себе процветают на здоровье, а у нас лучше [...] Лучше русского человека, ей-богу, нет человека на свете»³⁸. А в письме к Эвелине Улановской, отправленном тотчас по возвращении из-за границы в Нижний Новгород, Короленко писал: «Плохо русскому человеку на чужбине, и, пожалуй, хуже всего в Америке. Хороша-то она хороша и похвального много, — да не по нашему все»³⁹. (Нужно учесть печальный контекст этого времени, а также типичность подобных высказываний для любого путешествующего, в конце концов, мечтающего страстно вернуться на родину). Поэтому писатель не сомневается в том, что если бы предложили жить в Америке или в Якутской области, он бы выбрал последнее. С другой стороны, это «удивительная страна!»⁴⁰.

Поэтому неоднократно в путевых заметках изображаются своего рода идеологические диалоги. В очерке *Русские на Чикагском перекрестке* дан диалог встретившихся на чужбине русских, один из которых охарактеризован как человек желчный, «по обычаю почти всех русских, — отзывался об Америке и американцах с большой горечью»⁴¹. Они говорили о России, «о ее небольших городках, широких полях, степных дорогах, об ее народе, неторопливом и добродушном»⁴². Один из участников диалога называет американцев черствым народом, однако их разговор приходит к такому неожиданному заключению: тоска русских на чужбине — это тоска по справедливости, которой нет на родине («И там, где нет справедливости, нельзя говорить о любви»⁴³). Герой рассказа *Без языка* знакомится с эмигрантами-евреями и поляками.

Все они вместе решают одну проблему: принять ли новую культуру или сохранить свою собственную. Крестьянин Матвей Лозинский, естественно, стоит за строгое соблюдение собственных правил, нравов и обычаев и не принимает тех, кто изменяет им. Но этот твердокаменный традиционализм все-таки дал трещину. В Америке мало свободы, но есть условия, чтобы ростки свободы не погибли. В России таких условий пока нет. Америка для русского крестьянина — это страна, где могут встретиться интеллигент и крестьянин и, наконец, понять друг на друга, обрести

³⁸ *Ibidem*, с. 197.

³⁹ В.Г. Короленко, *Полное собрание...*, т. XVIII, с. 8.

⁴⁰ *Ibidem*, с. 86.

⁴¹ *Ibidem*, с. 91.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ *Ibidem*, с. 92.

«общий язык», которого у них не было на родине Так раскрывается один из символических подтекстов повести и ее заглавия — «Без языка»⁴⁴.

Увиденное в Америке глубоко запечатлелось в творческой памяти Короленко и потом неоднократно «всплывало» в самых разных обстоятельствах, контекстах, трансформируясь и в художественные образы, и в логические рассуждения. К американской теме Короленко обращался не раз в дореволюционной публицистике. В 1916 г. он публикует фельетон *Мнение американца Джаксона о еврейском вопросе*, где вспоминает свое путешествие по Атлантике и одного надменного американца. Здесь в фельетонном ракурсе представлены образы американцев, «хваленых сынов заатлантической республики»⁴⁵. Отношение к еврейскому вопросу становится для Короленко поводом для размышлений о правах человека. Итоговый вывод этого фельетона навеян идеологической беседой в далеком 1893 году: «Любовь, как Благодать, веет где же хочет. Справедливость обязательна, как воздух для дыхания»⁴⁶.

Американскую поездку он вспоминает и в статье *Американский судья о русской полиции* (1916), где включается в полемику между «Русскими ведомостями», «Киевской мыслью» и другими периодическими изданиями по поводу репортерской заметки *Что мы, в России, что ли?* (1916), опубликованной в чикагской газете «Tribune» (речь шла о реплике американского судьи, воскликнувшего из-за грубости местной полиции нравов: «Да что же это: в России что ли?»⁴⁷). Короленко-публицист вовсе не идет по пути обязательного патриотического восхваления существующих российских порядков. Он считает, что русские писатели в этом не могут быть едины. Сравнивая состояние прав человека в России и Америке, он делает его в пользу Америки. Приводя жуткие эпизоды из своего публицистического опыта, как полиция расправлялась со смиренным обывателем, он задается вопросом, и сам же на него отвечает:

Возможно ли что-нибудь подобное в Америке? Не думаю, чтобы и там не было подобных зверей, но все-таки ничего подобного там невозможно. Прежде всего, невозможно ворваться подобным образом в дом американца ночью. Во-вторых, там полиция не считается при исполнении обязанностей во всякое время. [...] Одним словом, нет сомнения, что в России возможно еще многое, что совершенно уже невозможно в Америке⁴⁸.

⁴⁴ Е.Г. Савельева, *op. cit.*, с. 90.

⁴⁵ *Неизданный В.Г. Короленко [в 3 т.]*, т. I: *Публицистика 1914-1916*, Москва 2011, с. 140.

⁴⁶ *Ibidem*, с. 143-144.

⁴⁷ *Ibidem*, с. 161.

⁴⁸ *Ibidem*, с. 165.

В написанных незадолго до смерти *Письмах к Луначарскому* (1920) тема Америки и сопоставление российских и американских порядков, культурных традиций возникает неоднократно. В *Письме втором* он вспоминает, как в 1893 году посетил всемирную выставку в Чикаго, и как после выставки вспыхнули крупные волнения, вызванные наступившей безработицей⁴⁹. Он приводит слова соотечественника, русского еврея: «Надо было бы им всем сначала стовориться, а сюда прийти с одним выводом, Вот тогда был бы толк⁵⁰». Но мистер Стоун, тоже русский по происхождению, марксист, говорит, что организовать сразу хозяйство огромной страны на социалистических началах совершенно невозможно:

Это легко устраивается только на бумаге, в «Утопиях». Но мы, марксисты, отлично понимаем, что нам придется иметь дело не с людьми, сразу превратившимися в ангелов, а с миллионами отдельных, скажем даже, здоровых эгоизмов, для примирения которых потребуются трудная выработка и душ и переходных учреждений... Америка дает для этого отличную свободную почву, но пока и только⁵¹.

В *Письме третьем* он снова обращается к параллели (Россия и Америка, а также Европа):

Над Россией ход исторических судеб совершил волшебную и очень злую шутку. В миллионах русских голов в каких-нибудь два-три года повернулся внезапно какой-то логический винтик, и от слепого преклонения перед самодержавием, от полного равнодушия к политике наш народ сразу перешел к... коммунизму, по крайней мере, к коммунальному правительству. Нравы остались прежние, привычки и уклад жизни тоже⁵².

Обращаясь к Анатолию Луначарскому, Короленко отстаивает положительное значение слова «буржуа»: «Почему же теперь иностранное слово «буржуа» — целое огромное и сложное понятие — с вашей легкой руки превратилось в глазах нашего темного народа... в упрощенное представление о буржуе, исключительно тунеядце, грабителе...?»⁵³.

В *Письме четвертом* Короленко предрекает, что «европейский пролетариат за вами не пошел и его настроение в массе является настроением того американского социалиста Стона, мнение которого я приводил во втором письме»⁵⁴.

⁴⁹ В художественно-трансформированном виде эти впечатления, скорее всего, отразились и в рассказе *Без языка*.

⁵⁰ В.Г. Короленко, *Земли! Земли!*, Москва 1991, с. 142.

⁵¹ *Ibidem*, с. 143-144.

⁵² *Ibidem*, с. 150.

⁵³ *Ibidem*, с. 153.

⁵⁴ *Ibidem*, с. 156.

При переходе к этому будущему от настоящего не лее подлежит уничтожению и разгрому. Такие вещи, как свобода мысли, собраний, слова и печати для них не простые «буржуазные предрассудки», а необходимые орудия дальнейшего будущего, своего рода палладиум, который человечество добыло путем долгой и небесплодной борьбы и прогресса. [...] Это огромная ваша ошибка, еще и еще раз напоминающая славянофильский миф о нашем «народе-богоносце» и еще более нашу национальную сказку об Иванушке, который без наук все науки превзошел и которому все удается без труда, по щучьему велению⁵⁵.

По мысли Короленко, «любить народ надо не слепо, как среду, удобную тех или других экспериментов, а таким, каков он есть в действительности»⁵⁶.

И снова в письме появляется аргумент из американских впечатлений:

Когда я путешествовал по Америке, например, я с удовольствием думал о том. Что у нас невозможны такие суды Линча, какой около того времени разыгрался в одном из южных штатов: негр изнасиловал белую девушку и, чтобы скрыть преступление, убил ее. Население городка устроило [законный] суд и сожгло его живым на костре. [...] Я думаю, что даже и теперь, во время величайшего озверения, у нас подобное явление невозможно. Славянская натура нашего народа мягче англосаксонской⁵⁷.

И все же писатель, много поживший и хорошо знающий Россию и русские порядки, горестно констатирует, что «в Америке нравственная культура гораздо выше»⁵⁸. И сегодня, спустя почти 100 лет после появления *Писем к Луначарскому* (запрещенных в Советскую эпоху) сказанное на склоне жизни выдающимся писателем не потеряло, к сожалению, своей актуальности и звучит нелестно для национального самосознания:

Случай с негром – явление настолько исключительное, что эта исключительность и вызвала такой зверский суд толпы. В обычное же время, в среднем, молоденькая девушка может безопасно путешествовать по всей стране, охраняемая твердостью общественных нравов. Можно ли то же сказать о наших нравах? У нас такая путешественница может на всяком шагу попасть в сети общей нашей распущенности и развращенности. По натуре, по природным задаткам наш народ не уступает лучшим народам мира, и это заставляет любить его. Но он далеко отстал в воспитании нравственной культуры. У него нет того самоуважения, которое воздерживаться от известных поступков, даже когда этого никто не узнает. Это надо признать, и надо вывести из этого необходимые следствия. Нам надо пройти еще довольно долгую и суровую школу. [...] Из одного и того же вещества углерода получаются

⁵⁵ *Ibidem*, с. 157.

⁵⁶ *Ibidem*, с. 159.

⁵⁷ *Ibidem*, с. 160.

⁵⁸ *Ibidem*.

и чудные кристаллы алмаза и аморфный уголь. Значит, есть какая-то разница во внутреннем строении самих атомов. То же нужно сказать и о человеческих атомах, из которых составляется общество: не всякую форму можно немедленно скристаллизовать из данного общества. Во многих городах Швейцарии уже теперь вы можете безопасно оставить любую вещь на бульваре, и, вернувшись, застанете ее на том же месте. А у нас — будем говорить прямо»⁵⁹.

И осознать это, и убедительно объяснить читателю помогли Короленко, в том числе, и давние американские впечатления.

IMPRESSIONS OF AMERICA IN THE CREATIVE WORKS OF VLADIMIR KOROLENKO

Summary

The article is devoted to the analysis of various artistic, documentary and journalistic works of Korolenko which are united by the American theme. Both the texts published and those unpublished during the writer's lifetime (travel notes, articles, correspondence) have been analyzed in the article. The analysis demonstrates that Korolenko's texts are not just ethnographic travel essays, but also a deep reflection on two images of the world - Russian and American, which contain an assessment of the pace of technological progress, of the ideals of freedom, as well as of the attitude towards pragmatism and individualism. National awareness against the background of European and American realities emerges as an important theme in Korolenko's work. The characters' perception of the «other» world» is given through the use of natural and cultural contrasts. Overall, the study shows that the image of America that appears in the works of Korolenko is more penetrating and ambiguous than it is generally assumed about this representative of critical realism. It is concluded that the impressions of the trip to the exhibition in Chicago in 1893 became the inspiration for the subsequent creativity of Korolenko up to the end of his life.

⁵⁹ *Ibidem*, с. 161.